

Смерть Джэка Лондона.

Смерть Джэка Лондона, внезапно прославившегося и внезапно среди этой славы умершего, наводит на размышления об одной очень важной особенности нашего духовного строя. Именно, опять выступают перед нами серьезный вопрос о значении в человеке первобытного начала. Как бы далеко мы ни поднялись на вершинах культуры, мы не можем забыть о природе. Вспомните: она не забывает о нас. Так много в людях первоначального, и материального стихийного и дикаго, что под воздействием этой исконной силы легко рушатся все утонченные построения нашей воспитанности. До конца никого не может культура приручить; безусловное укрощение строительной натуры неосуществимо. Война вообще, а вышедшая в особенноти, подтверждает это слишком убедительно и слишком грустно. И подарок на протяжении всего исторического процесса замечается, что как раз в те эпохи, когда человек особенно склонен заниматься и выдвигать себя из остального естества: когда он выказывает преимущественное доверие к просвещению, гордится умом, изобретает веру рационализма,—как раз тогда, на изысканном пиру культуры, раздается чей нибудь неожиданный голос, возмущающий назад, на лоно природы, в деревню и простоту, к сельским нравам и занятиям, в обитель инстинктов, сердца и чувств. Таковы были, например, голоса Руссо, Рескина и нашего Толстого,—все эти манифесты отречения, все эти гимны миру—деревни, а не миру—городу. Мы и тогда, утомленные собственной же мыслью. Гамлеты, уставшие от своих же размышлений, горожане, в шум и блеск городских площадей истосковавшиеся по зеленым полям и еще больше по той святой простоте и святости, по той великой наивности духа, которая соответствует привлекливой зелени лугов и лесов,—все они, как о потерянном рабе, не возвращенном, но будто бы возвратимом, вздыхали о прежней бездельно-бесцельной жизни под мирной сенью вековых деревьев и густых кустов, в объятиях матери-земли. Художники, вослед философов или претворяя их, рисовали, воображая своим наклоностям, природу либо дикую, либо бурную, идиллических пастушеских или хищных дикарей; вы можете столько примеров найти у Шаробриана и Вайона. У Пушкина и Лермонтова, на страницах Кнута Гамсуна. в „Каза-

ках“ Льва Толстого.

И к этой же полосе, к этому направлению человеческих сил, к этой точке по нашей прежней родине, принадлежить и только что скончавшийся Джэки Лондон, литературным лицом своим во многих чертах похожий на Максима Горького и Куридина. Сам всегда близкий к природе, и, вдобавок еще, к природе грозной и дикой, матрос, рабочий о отливка, пловец океанов, обитатель Клондайка, нутник сибирских пустынь, живой компань, тяготящийся к северу и пораженный жуткими чарами полярного круга, безкорытный босяк, золотой котель не ради золота, а ради трудностей его нахождения, Джэки Лондон и не литературно, а на личной судьбе своей извдалъ всю циклопичность к обнаженной земле и суровым ласки стихий. И вот он явился изображением естественного человека, грубого и могучаго, он пришел как писатель мускулов, как певец кровавой драки; лишь раз опозитивировал он физическую силу, и удары наносит у него не только мужчина, но и женщина. Когда читаешь иные рассказы Джэка Лондона, вполне вспоминается Шекспировский Калибан (даже звуком своего имени родственный канибалам, подобаят лондонских приключений),—ага еще не вполне человеческая глыба, этот одушевленный копь земли, рычащее и, злобное чудовище, одно из порождений хаоса. Американский автор точно возродил тот страшный образ предчеловечка, который создала гениальная фантазия Шекспира. Именно предчеловек оказался в мировой словесности гораздо раньше, чем гетевский и ницшеанский сверхчеловек. И как-бы говорить своим творчеством Джэки Лондон: нам ли мечтать о последнем, когда еще далеко не забыты в нас первобытные ли человеческаго является чередной задачей дитя, в ком еще так сильно до-человеческое. Предельным введением культуры можно ли впасть темь, кто находится в желважных тисках природы.—этой „желважной двы“ среднечеловеческих инток.

Впрочем, не следует думать, будто первобытного человека с необычайной мускулатурой Лондон изобличает и рисует его сатирически и убоизненно. Наоборот, писатель сам привязан к нему симпатическими нитями, сам находится под обаянием его стихийной мощи и любит на своего дикаря, представляющего столь разительный контраст с бледными и малокровными, с хилыми и робкими жильцами удобных городских кварталов. Воздух жизни и моря, соледаго кряжикаго моря, обвывает

всѣхъ этихъ Морскихъ Волковъ, Шедоновъ, Солнца Красныя—героевъ Джэка Лондона. Они дышатъ всею душою, всею грудю, и въ самой дикости ихъ есть что-то привлекательное, влнющее тѣ „бури заснувшя“, которыя не чужды никому изъ людей и по тѣ которыми—говоря словомъ Тютчева „чаосъ шевелится“.

Нѣтъ, не отворачивается отъ потомковъ Калибана ихъ позднѣйшій изобразитель. Но съ ними и съ нимъ происходитъ нѣчто другое—глубоко знаменательное. Именно: они не хотятъ быть только природою, они неодолимо тяготеютъ къ культурѣ. Повторяется то, о чемъ разсказалъ въ своей „Бурѣ“ Шекспиръ: мудрый Просперо въ значительной степени покоряетъ себѣ чудовищаго Калибана и на островѣ, который символизируетъ собою жизнь человѣчества, на островѣ, гдѣ эфиръ Калибана былъ тогда то полнозастылымъ господиномъ, во арестѣ его образованный покоритель, все тотъ же Просперо, мыслитель и читатель, проемкиновый другъ слова и книги, патронъ всей будущей интеллигенціи. И музыка раздающаяся на островѣ, недавно Калибану столь ненавистная, мало по малу привлекаетъ къ себѣ и его трой слухъ, и его косматое сердце. Культура неоправдана. И тѣ, кто приветствуетъ ее, какъ освободительницу отъ дикости, радуются этой воспитательной и гармонизирующей силѣ ея; этой благодатной ея неизбежности. А тѣ, кто видитъ въ ней начало разсабляющее, вампиръ, который выпиваетъ здоровую, красную, горлчую кровь изъ человѣческихъ жилъ и замѣняетъ ее жидкой лимфой,—тѣ сѣтуютъ на ея производность, вторичность, искусственность и воiventъ отъ нея въ дѣтственные добри, въ жизнь скитальческой и непосредственной, на просторъ большихъ дорогъ. Но и приверженцы культуры, и ея отрицатели одинаково должны считаться съ тѣмъ фактомъ, что между нею и природою нельзя провести рѣзкой пограничной линіи, что культура природу продолжаетъ и что на первоизданномъ необитаемомъ островѣ рано или поздно съ мыслыю и музыкой поселяется Просперо.

Вотъ почему и дикари Джэка Лондона въ своей первобытной дикости не остаются. Какъ Мартинъ Идэнъ, въ которомъ своего двойника изобразилъ авторъ, они становятся только читателями художественныхъ словъ, но и ихъ писателями. Они не просто живутъ: они философствуютъ. Они доходятъ до Спенсера и Геккелъ, до Свиберна и Лонгфелло, размышляютъ, учатся. Обернувшись отъ работы сознания они не могутъ не читать и не умѣютъ. Свѣжѣе и наивнѣе ощущенію самоучекъ, они добираются до нашихъ книгъ и принимаютъ ихъ иногда го-

раздо больше всерьезъ, чѣмъ мы сами. Въ ихъ элементарныя души, какъ въ плодородный черноземъ, попадаютъ сѣмена нашихъ философій. И книга, которая въ горѣ дѣ, для привилегированныхъ, для переутраченныхъ чтеніемъ, для разочарованныхъ въ культурѣ, является мертвой и бумажной, она въ сердцѣ у недавнихъ дикарей, у дѣтей природы, оживаетъ, она для нихъ—одушевленное существо, она сверлитъ ихъ и безпокоитъ, и они трепетно ищутъ и росчерканія. Соединившись съ Гамлетомъ, познать сладость и пытку саманализа, они уже не въ состояніи жить прежней бездумной жизнью и беззавѣтно отдаватьсѣ всякому ощущенію. Съ ними тоже совершается трагедія мысли,—они познаютъ расколъ между разумомъ и чувствомъ, между идеями—и волей, между сознаниемъ и стихіей. И Мартинъ Идэнъ не выдержалъ этого раскола, въ своей протѣ не вмѣстилъ своей культуры, но сочеталъ въ себѣ непосредственности и образованности.— и вотъ онъ потерялъ интересъ къ жизни, опустошилъ свою душу и утопилъ себя въ пучинахъ Атлантическаго океана.

Въ этомъ предикновеніи культуры въ природу, часто трагическомъ, и заключается основная черта Джэка Лондона, какъ творческой личности. До конца нѣтъ у него культуры; но до конца нѣтъ у него и природы. Чувствуется надломъ и нестройность. Съ живѣйшей симпатіей слѣдишь на его страницахъ за тѣмъ, какъ изъ нѣдръ стихійности рождается интеллигентность. А рожденіе никогда не бываетъ безболѣзненнымъ. Чернорабочій становится знаменитымъ писателемъ: это не проходитъ безнаказанно, это очень истощаетъ силы духа, за это надо уплатить много душевной свѣжести.

Нельзя избѣть природы, но нельзя избѣть и культуры. Недаромъ и Горькій сводилъ бо-ежковъ въ концѣ концовъ обуль,—т. е. они, сначала протестуя противъ интеллигенціи, потомъ сами дѣлаются интеллигентами, разсуждаютъ и теоретизируютъ, не удовлетворяются одною вольной практикой жизни. Недаромъ и Куринъ, страстный почитатель Джэка Лондона, любитель и знатокъ безшабашности и безудержу, все таки въ этой сферѣ не привился навсегда и сталъ платить обильную дань теоретичности, чѣмъ и сдузилъ свою широкую писательскую натуру, вольный размахъ и свободу своего пера.

Да, еще разъ скажемъ: болѣзненно происходитъ рожденіе интеллигентности изъ нѣдръ стихійности,—и не потому ли такъ рано и неожиданно умеръ Джэкъ Лондонъ, сочувствующій биографъ писателя—самоубійца, Мартина Идэна.

Ю. Айхенвальдъ.